



## Н. ОТВЕРЖЕННЫЙ

### Бакунин и Ставрогин\*

Еще при жизни героический облик Бакунина неразрывно сплелся с пленительной легендой и позорной клеветой.

Кажется, что он унаследовал вечно-тревожную судьбу персонажей Гофмана: окруженный бесчисленной вереницей кривляющихся теней-масок, шел гениальный современник Достоевского по историческому пути, неустанно рождая причудливые вымыслы и мифические домыслы. Но, быть может, в неистощимой изобретательности человеческой фантазии наиболее изящной и обольстительно-сочиненной является известная гипотеза Л. П. Гроссмана\*\* : Бакунин как прототип Ставрогина.

Она уже встретила сокрушительную критику со стороны В. П. Полонского\*\*\*, которая во многом разрушила наиболее ценные и веские аргументы автора известных работ о Достоевском. Взаимоотношение Бакунина с Нечаевым, «Огаревский вопрос», пощечина Каткова, «сексуальная ущербность» — «капитальные эпизоды» в биографии «великого бунтаря» получили в статьях

---

\* Моя тема совпадает со статьей А. А. Борового: «Бакунин в “Бесах” [статья в той же книге «Миф о Бакуине»]. Но между нами — существенная разница: Боровой разрешает этот вопрос преимущественно в философском аспекте, — моя задача — больше литературно-психологическая. В основном в этом споре у меня нет никаких расхождений с Боровым, поэтому, быть может, в наших работах будет некоторое совпадение идей. Но это, конечно, несколько не исключает полной творческой самостоятельности и своеобразия наших статей.

\*\* См. «Печать и Революция», 1923 г., № 4, ст. Гроссмана «Бакунин и Достоевский», стр. 82 и 1924 г., № 4 и 5 его ст. «Бакунин в “Бесах”», ст. 56.

\*\*\* См. «Печать и Революция», 1924 г., № 2, ст. Полонского «Бакунин и Достоевский», стр. 24 и № 5.

Полонского такую убедительную оценку, что не признавать ее возможно, лишь только принципиально игнорируя факты. Но, тем не менее, Полонский не исчерпал и до конца не разрешил этот вопрос, пройдя мимо наиболее существенной и основной проблемы бакунинского спора.

Гроссман в известном смысле прав, когда утверждает, что «нельзя при изучении художественных образов вообще, и героев Достоевского в особенности, заключать от несходств к отсутствию прототипности». К сожалению, эта глубокая и правдивая идея не помешала автору бакунинской легенды в своих доказательствах прибегнуть к таким по существу ненужным и бесплодным, как сравнение лица, глаз, румянца Ставрогина и Бакунина.

Это праздное препирательство, занимающее значительное количество страниц у Гроссмана и Полонского, на самом деле лишено существенного значения. Иначе мы рискуем быть теми исследователями, которые упорно будут считать «апостола всемирного разрушения» прототипом всех исполинов с лвиной головой и голубыми глазами, а в красноречивых героях «интуитивно прозревать» вдохновенного трибуна. Необходимо сначала разрешить основную проблему спора: мог ли Бакунин, как определенный психологический облик, быть прототипом таинственного «принца Гарри».

На этот вопрос, допускающий только при его положительном ответе возможность искать ряд доказательств, подтверждающих фактическую осуществимость творческого заражения\*, — можно ответить только отрицательно, если, конечно, не подменить исторического Бакунина, сочиненным и мифическим. В этой подмене и коренится основная ошибка автора обольстительной легенды.

Он сочинил Бакунина, придумал близкий психологический облик Ставрогину, сопоставил множество фактов из биографии «питомца премухинского гнезда», и, действительно, как будто оказалось, что эта фантастическая марионетка чрезвычайно напоминает самого загадочного героя Достоевского. Наша задача — показать полное духовное несоответствие реального Бакунина и Ставрогина, глубокий непримиримый контраст двух антиподов человеческой психики.

---

\* Аргументы, подтверждающие эту фактическую осуществимость, Гроссмана уже нашли свое возражение в статьях Полонского. В общем почти все выводы последнего я принимаю, но считаю ошибкой, что автор монографии о Бакунине не поставил в своих работах основной проблемы спора. Давая анализ чисто формальный, необходимо было дать и психологический, иначе возражения теряют существенную часть своей значимости.

## 2. «Первые, вторые и третьи позиции» Гроссмана

Автор бакунинской легенды значительно усложнил ее анализ неясной формулировкой своих многообещающих открытий.

Первые страницы Гроссмана особенно вдохновенны; они, действительно, как будто открывают не только читателям, но и исследователям Бакунина широкую перспективу постижения одного из самых таинственных вдохновителей страдающего человечества. «И кажется только единственный раз, на протяжении целого полустолетия, — пишет Гроссман, — маска с лица Бакунина была приподнята, и сущность труднейшей психологической проблемы разрешена до конца в одной замечательной художественной интуиции.

В русской литературе есть книга о Бакунине, написанная еще при жизни его, но до сих пор с этой стороны неизвестная. Это, конечно, самое выдающееся исследование о нем, и если нам удастся раскрыть таинственно-запечатленный образ одного фантастического героя русского романа, духовная природа Бакунина предстанет перед нами в пластических чертах одного гениального воображаемого портрета»... Итак, «“Бесы”, — вот то неизвестное исследование о Бакунине, которое подспудно и таинственно живет в нашей литературе в течение целого полувека. Роман, считавшийся до сих пор изображением “нечаевщины”, является у нас первой монографией о Бакунине».

В длинном свитке работ по Бакунину, наряду с именами Неттлау, Корнилова, Стеклова, Полонского и др., необходимо, по-видимому, присоединить и Достоевского. Тогда в «Бакуниане» «Бесы» представят не только большой интерес, как «первая монография о Бакунине», но и произведут в ней, благодаря счастливому открытию Гроссмана, целый переворот, разрешив «сущность психологической проблемы» непримиримого бунтаря до конца.

Конечно, «Бесы» — не ученый трактат, а художественный роман, но здесь у Гроссмана имеется оговорка, с которой принципиально необходимо согласиться. «Последнее слово, — пишет автор бакунинской легенды, — в истолковании загадочных образов прошлого принадлежит обычно не ученым, а поэтам. Не исследователи, а художники слова часто дают окончательную формулу самым глубоким и сложным историческим характерам».

Но сам исследователь Достоевского, по-видимому, был смущен открывшимися научными далями, когда он дал на первых страницах своей статьи эту гиперболическую оценку. Это следует из той торопливости, с какой автор бакунинской легенды отступил с «первых»

позиций на «вторые», нисколько не смущаясь впасть в противоречие с самим собой.

«Ставрогин, конечно, — только воображаемый портрет Бакунина, — пишет Гроссман в дальнейшем, — т. е. в основе глубоко преобразующий его подлинный облик... Достоевский стремился в своей портретной живописи не к исторической подлинности, а к выявлению своего художественно-философского замысла, и потому, согласно велениям этого высшего императива, он комбинировал, изменял, усиливал и глубоко преобразовал все данные бакунинской биографии и психологии... По Ставрогину, конечно, нельзя изучать исторического Бакунина, но при изучении его необходимо считаться и с той художественной трактовкой, какую он получил в творческом сознании одного из своих гениальных современников».

Эти страницы автора мифа чрезвычайно неясны и заметно противоречивы. С одной стороны, благодаря открытию Гроссмана, сумрачная фигура вдохновенного трибуна получила свою «окончательную формулу», ибо, убеждает нас известный исследователь Достоевского, «Бакунин разделяет участь Цезаря, Кромвеля, Петра или Грозного» и тогда, конечно, «Бесы» — явятся «наиболее выдающимся исследованием» в Бакуниане, которое пристально и тщательно следует изучать всем бакунистам, а с другой — Достоевский «исходил из личности Бакунина и по-своему, художественно-философски, т. е. свободно и даже фантастически произвольно трактовал его образ и толковал его жизненный подвиг», т. е. в облике Ставрогина мы имеем фантастический произвол, и тогда, как это ни печально, для уяснения гениального современника Достоевского нам придется оставить «Бесы» и снова обратиться к работам Неттлау, Корнилова и др., далеко не разрешившим всех проблем бакунинской психологии.

Это несоответствие между двумя формулировками углублено еще больше Гроссманом при его отступлении на «третьи позиции», как будто оставшиеся последними, если не считать, конечно, полной капитуляции. Эта позиция обоснована Гроссманом во второй его статье в III главе: «проблема литературного прототипа». Отметив длинный ряд прототипов в мировой литературе, автор легенды пишет: «Все это прототипы. И все эти *живые лица* глубоко не схожи с *романтическими образами*, которые ими порождены. Они только дают первый толчок фантазии художника, которая затем действует автономно, преобразует жизненный зародыш, дает ему самобытное развитие и выводит из него, наконец, художественный образ, столь самобытный и новый, что жизненный первоисточник совершенно отстает, и сходство между реальностью и фикцией сглаживается почти до неузнаваемости» (курсив мой. — Н. О.).

Это любопытное толкование Гроссмана литературного прототипа, его «третьи позиции» окончательно противоречат патетическому тону его первоначальных утверждений. На самом деле, если Бакунин явился только «первым толчком фантазии художника, которая затем действует автономно... дает ему самобытное развитие» до такой степени, что «сходство между реальностью и фикцией сглаживается почти до неузнаваемости», то непонятно, каким образом «Бесы» — «первая монография, самое выдающееся исследование о Бакунине», где единственный раз, т. е. только в этом произведении, а не в каких-нибудь ученых трактатах, «маска с лица Бакунина были приподнята и сущность труднейшей психологической проблемы разрешена до конца». По-видимому, это противоречие несомненное и очевидное может быть разрешено при полном отказе от обольстительной и одновременно несостоятельной первоначальной формулировки. Это, быть может, несознательно подчеркивает сам Гроссман, когда устанавливает принципиальную разницу творческого преобразования, лежащего в основе прототипа, от всякого иного. «Всякое иное преобразование, — пишет Гроссман, — не связанное с таким коренным нарушением черт оригинала, не создает прототипа, а является поэтической живописью исторического лица. Нельзя говорить, напр., что Борис Годунов<sup>1</sup> или Иван Грозный — прототипы трагических героев Пушкина или Ал. Толстого<sup>2</sup>. Это просто исторические образы, изображенные поэтом, конечно, не фотографически, но с обязательным сохранением огромной дозы подлинного сходства». Автор бакунинской легенды сам резко проводит грань, отделяющую исторические образы Бориса Годунова и Ивана Грозного от героя Достоевского, прототипом которого якобы являлся Бакунин, к сожалению, забывая, что когда-то он сам писал совершенно обратное.

Напомним Гроссману его же слова: «Последнее слово в истолковании загадочных образов прошлого принадлежит обычно не ученым, а поэтам... И в этом отношении Бакунин разделяет участь Цезаря, Кромвеля, Петра и Грозного». Ясно только одно: в первой редакции Бакунин разделял участь исторических характеров, а в третьей — он уже не разделяет. Это противоречие можно установить и другим аргументом: анализ Рудина, сделанный Гроссманом, лишний раз иллюстрирует его спешный переход на последние позиции.

Страница о Рудине вообще примечательна для аргументации автора бакунинской легенды. Известно, что аналогия не пользуется правом доказательств в логике. Гроссман еще раз иллюстрирует это положение. Он доказывает, хотя как будто это никто и не оспаривает (это вообще любимый прием полемики Гроссмана, по крайней

мере, в этом споре), что сам Тургенев неоднократно утверждал, что в основу Рудина он положил Бакунина.

Но ведь личное признание Тургенева ничего не доказывает для Достоевского — это, во-первых, а затем, что прекрасно известно Гроссману, никто из бакунистов никогда не изучал роман Тургенева, как «первую монографию и самое выдающееся исследование» о нем, где «сущность труднейшей психологической проблемы разрешена до конца». Никто, это, по крайней мере, должен знать Гроссман, в Рудине не искал «окончательной формулы» характера Бакунина.

Известно больше, что несмотря на личные признания Тургенева, которых, увы! нет у Достоевского, многие исследователи отказывались видеть в облике Рудина творчески преобразенный образ Бакунина. Все это приведено мной, чтобы установить сложную эволюцию «открытия» Гроссмана со всеми его вариациями и отступлениями и остановиться на последней формулировке действительно «непритязательной».

### *3. Постановка проблемы*

Последняя формулировка Гроссмана не может быть признана достоверной и тем более научной, несмотря на ее скромность и существенную расплывчатость, если не будет доказана близость психологических основ Ставрогина и вдохновенного трибуна. Иначе мы рискуем перенести наш спор в область веры, где, конечно, он лишен всякого значения.

Чтобы установить иллюзорность основной тезы Гроссмана, мы попытаемся в нашей статье определить облик Ставрогина, его душевную формулу, как глубочайшее отрицание бакунинской стихии. Основными чертами характера героя Достоевского Гроссман считает: 1) гипертрофия интеллекта, 2) отсутствие творческой воли, 3) духовное бесплодие, 4) невосприимчивость к поэзии, музыке и «ко всем живым и звенящим голосам великой сферы мирового искусства», 5) мертвенность, безжизненность, застылость.

К этим коренным элементам Ставрогинской психики необходимо, на наш взгляд, присоединить еще одну. «Принц Гарри» — глубокий скептик, он — неверующий и вместе с тем ему свойственна мучительная жажда полной веры; атеизм и скрытая религиозность трагически сплетены в безмерно раздвоенной натуре. Носил ли Бакунин в глубинах своего духовного существа все эти душевные разновидности, психические волны ставрогинской стихии? Исследуем этот вопрос.

#### 4. Гипертрофия интеллекта и отсутствие творческой воли

Гроссман тонко и с большим мастерством рисует одну из основных черт таинственного героя Достоевского, когда пишет, что Ставрогин — «воплощение умственной мозговой силы». «Мысль, доведенная до степени чудовищной силы, пожирающая все, что могло бы с ней распуститься в духовном организме, какой-то феноменальный Рассудок-Ваал, в жертву которого принесена вся богатая область чувств, фантазии, лирических эмоций, — такова формула ставрогинской личности», — вполне правильно утверждает автор известных работ о Достоевском. Эта черта Ставрогина неразрывно сплетена в его психике с отсутствием мощной творческой воли.

Я не оспариваю этой характеристики. Я только должен указать, что *здесь Бакунин не мог быть творческим импульсом для Достоевского*. Ставрогин действительно «гений абстракта, исполнил логических отвлечений». Абстрактный замысел властно тяготеет над безжизненно застывшим героем Достоевского. В романе он дан бесстрастным и трезво холодным. Ставрогин менее всего практик, — он с неприятной тревогой смотрит на вечно торопливого Петра Верховенского. Последний с его бестолковым практицизмом прекрасно оттеняет отсутствие воли, духовной подвижности и энтузиазма Ставрогина.

Напротив, Бакунин — вечный проповедник, трибун par excellence<sup>3</sup>, который не воспринимал иначе человеческого слова, как беспрестанное учительство и неумолчный призыв. Идеи чисто умозрительные, сама философия неизбежно превращались гениальным современником Достоевского в жизненную проповедь, имеющую подчас большое организаторское значение.

Известно, что еще в 1835 году юный Бакунин составляет план образования замкнутого религиозного братства, в состав которого он наметил своих братьев и сестер, а также сестер Беер. Пылкий юноша еще тогда познал, какое значение имеют идеи, как мощный и творческий способ организации людей, их объединения, или, по крайней мере, как одна из возможностей воздействия, а в зрелые годы, в этап революционной деятельности, вдохновенный трибун часто жертвовал пламенным красноречием и незаурядной эрудицией для анархической пропаганды.

Характерен рассказ профессора санскритского языка Губернатиса об этом бакунинском влиянии. «Тогда, — пишет Губернатис, — Бакунин пустил в ход все свое красноречие, не малое, и убедил меня, что, ввиду мрачного заговора государств на зло общества, необходимо

противопоставить другой заговор... Великий змий окружил меня с этой минуты своими фатальными кольцами; я немного противился еще, но, наконец, объявил, что если дело пойдет на социальную революцию непосредственную, то я вступлю в тайное общество».

Пленительный дар его экзальтированной личности переживают многие люди 40-х годов и в особенности Белинский. Отзывы этих современников, которых властно покорял и подчинял своей духовной природе Мишель, необходимо учесть, тем более, что Гроссман предполагает одним из источников о Бакунине для автора «Бедных людей» живое свидетельство кружка 40-х годов. Какими же чертами особенно волновала и тревожила их мятущаяся и динамическая душа Бакунина?

«В этом человеке лежал зародыш деятельности, на которую не было запроса, — писал Герцен, — *Бакунин носил в себе возможность сделаться агитатором, трибуном, проповедником*, главой партии, ересиархом, бойцом. Поставьте его, куда хотите, только в крайний край: анабаптистом, якобинцем, товарищем Анахариса Клотца<sup>4</sup>, другом Гракха Бабефа<sup>5</sup>, и он увлекал бы массы и потрясал бы судьбами народов». Белинский в своих письмах дает интересную формулу бакунинской стихии.

«Всегда признавал, — пишет он, — и теперь признаю я в тебе благородную, львиную природу, дух могучий и глубокий, необыкновенное движение духа, превосходные дарования, бесконечные чувства, огромный ум». А в другом письме — «Мишель во многом виноват и грешен; но в нем есть нечто, что перевешивает все его недостатки, — это вечно движущее начало, лежащее в глубине его духа».

Отзывы людей, близких к его мировоззрению, еще больше выделяют многогранность и многокрасочность психики Бакунина. В предисловии к первому изданию «Бог и Государство» Э. Реклю и К. Кафиери пишут: «Друзья и враги признают, что он был велик мыслями, волею, неизменной энергиею... Оригинальность его мысли, образность и увлекательность его красноречия, его неустанная энергия пропагандиста, вместе с его могущественной фигурой, полной неиссякаемой жизненности, оставили неизгладимое влияние среди революционеров повсюду». Этих цитат, кажется, достаточно, а их можно значительно умножить, чтобы признать в образе Бакунина, увековеченным его современниками, друзьями и приверженцами, несколько характерных черт.

Огромный ум его был неразрывно соединен с мощной творческой волей, неиссякаемая энергия сплеталась с богатством эмоциональных переживаний. Пафос трибуна и проповедника настойчиво уничтожал всякий рационализм и полет в абстрактные миры. Творческий путь



Бакунина был глубоко внедрен в жизненную ткань событий и его пламенные идеи неразрывно сплетались с пестрым калейдоскопом меняющихся ситуаций действительности.

Эта характеристика глубоко непримирима, искони враждебна ставрогинским чертам: воплощение мозговой, умственной силы, соединенной с отсутствием мощной творческой воли. Можно было сейчас перейти к последующим чертам психики Ставрогина, если бы я не чувствовал обязанным несколько остановиться на возражениях Гроссмана, связанных с данной характеристикой Бакунина.

Я считаю облик Бакунина — трибуна и проповедника — противоположным ставрогинскому. Николай Всеволодович никогда по существу не был пламенным пропагандистом, безгранично верующим в свои идеи.

Гроссман, правда, как будто оспаривает это. «За границей, — пишет автор бакунинской легенды, — начинается для Николая Всеволодовича новый и важнейший этап его существования, — *приобщение его к международной революции и блистательная пропаганда своих политико-философских убеждений*, властно подчиняющий ему разнообразных адептов в лице Шатова, Кириллова, Петра Верховенского и др. Шатов впоследствии вспоминает о их встречах в Швейцарии: был учитель, вещавший огромные слова, и был ученик, воскресший из мертвых. “Я — тот ученик, а вы учитель”. *Здесь совершенно очевидна аналогия с заграничной жизнью Бакунина, философского проповедника и революционного пропагандиста небывалой силы и влияния, ставшего для многих “Учителем, вещавшим огромные слова”*» (курсив мой. — Н. О.).

Известный исследователь Достоевского, к сожалению, обладает двумя существенными недостатками: необузданным гиперболизмом и тонким умением характерные черты одной личности приписывать бездоказательно другой. Действительно, был ли Ставрогин таким революционным пропагандистом, каким его фантастически рисует автор бакунинской легенды? К сожалению, никаких фактов в романе для этого не имеется.

В «Бесах» есть замечательная глава, которая бросает яркий свет на «революционность» Ставрогина и его облик, как пропагандиста. Это беседа Николая Всеволодовича с Шатовым. <...>

В ней Достоевский явственно намечает истинный облик «революционности» Ставрогина, далеко не совпадающий с необузданным гиперболизмом автора бакунинской легенды. Характеристика Гроссмана здесь очень примечательна. «Поставленный в самый центр революционного движения, — пишет он, — стоящий, как в фокусе целой системы политических заговоров, как их глава и руководитель,

он (Ставрогин) сохраняет при этом до конца позицию поразительного невмешательства в эту возбужденную подпольную работу».

Мы видим из беседы Ставрогина с Шатовым, что «принц Гарри» не был не только «главой и руководителем целой системы политических заговоров, как настойчиво, хотя и напрасно, уверяет Гроссман, но он никогда по существу не принадлежал к их обществу, за товарищей их не считал и помогал им, как “праздный человек”. Быть может, “праздный человек” в революции для автора легенды и обозначает главу и руководителя», но подобное «интуитивное прозрение», надо сознаться, нам совсем недоступно. Не лучше дело обстоит с Интернационалом.

Говоря о связи общества с ним, Ставрогин нигде не касается личных отношений с Международной Организацией пролетариата. Свою революционную индифферентность Николай Всеволодович подчеркивает и в беседах с Петром Верховенским. <...>

Бакунинская жизнь, его исторический путь почти непрерывная, непрекращаемая проповедь, обычно насыщенная революционным пафосом. Напротив, Николай Всеволодович революционером, как пропагандистом и агитатором этих идей, никогда не был.

Он в революции случайный человек, праздный зритель, хорошо, однако, сознающий эту почти навязанную прихоть роль.

Его участие в тайном кружке почти исключительно в составлении устава. Петр Верховенский выдумывает фантастический образ Ивана-Царевича (вспомним: «Я вас с заграницы выдумал»); автор бакунинской легенды сочиняет небывалую революционность Ставрогина. Взаимоотношение Бакунина и Нечаева, напоминающие Гроссману сложную связь главных героев романа Достоевского, тоже, по меньшей мере, необоснованно. Бакунин в нем не был пассивным лицом, чем отличается Ставрогин в «Бесах».

Но, быть может, Достоевский запечатлел в своем герое другой могучий дар словесного искусства Мишеля, чарующий умы и сердца его современников. Известно, что Бакунин обладал редким талантом вдохновенно и ясно излагать философские системы и воззрения. Ставрогин тоже имеет восторженных адептов, которые когда-то трепетно и жадно ловили слова «вещавшего учителя», но дар Николая Всеволодовича иной, глубоко противоположный бакунинскому. Отметим характерный диалог Ставрогина с Шатовым.

— «Не шутили. В Америке я лежал три месяца на соломе, рядом с одним... несчастным и узнал от него, что в то же самое время, когда вы насаждали в моем сердце бога и родину, в то же самое время, даже, может быть, в те же самые дни, вы отравили сердце этого несчастного, этого маньяка, Кириллова, ядом... Вы утверждали

в нем ложь и клевету и довели разум его до иступления... Подите, взгляните на него теперь, это ваше создание... впрочем, вы видели.

— Ваше предположение о том, что все это произошло в одно и то же время, почти верно, ну и что же из всего этого? Повторяю, я вас ни того, ни другого не обманывал».

Облик Ставрогина получает неожиданно новое освещение: глубоко раздвоенный, он способен почти одновременно насаждать веру в бога и атеизм своим адептам. Эти мгновенные переходы от одной крайности к другой раскрывают скептическую подоснову таинственного героя Достоевского.

Дар безжизненного скепсиса, столь характерный и основной для ставрогинской стихии, органически был чужд Бакунину. Он обычно пренебрежительно отзывался об этой жизненной мудрости. Вспомним его краткую, но выразительную заметку в письме Огареву: «Ты постоянно требуешь ее (Н. А. Герцен) приезда к тебе; а для того, чтобы они тебе не отказали под предлогом, что и ты *экзальтированный* сумасшедший или выживший из ума, ты прикинься самым благо-разумным человеком, напиши им не горячее патриотическое, а самое рассудительное и насколько можно *скептическое письмо*. Для них *скептицизм — мудрость*. В этой мудрости умер Герцен» (курсив мой. — Н. О.).

«Мудрый скепсис» Герцена, как известно, был одной из главных причин охлаждения дружеских отношений между ним и Бакуниным. Это неудивительно. Страстная, экзальтированная натура гениального современника Достоевского не терпела компромиссов и примирений. Она властно требовала, чтобы люди отдавались целиком пропагандированной им идее. Бакунин не терпел жертв двум богам, отсюда, особенно в молодости, резкая нетерпимость, доходящая подчас до конфликтов и ссор с его друзьями.

Белинский писал: «Мишель думал, что кроме глубокой природы и гения необходимы для достаиваемых его дружбы еще одинаковый взгляд на погоду и одинаковый вкус даже к гречневой каше, условие *sine qua non!*»<sup>6</sup> Этот отзыв в общем верен для бакунинского характера, конечно, если исключить отсюда значительную долю пристрастия и преувеличения. В революционный период бакунинская непримиримость потеряла свой резкий, утрированный характер, — жизнь значительно сгладила ее угловатые очертания, но тем не менее основа сохранилась.

Мишель и после не был никогда искренно проповедником двух полярных идей или мировоззрений, ибо его экзальтированная душа знала всегда одно устремление, одно призвание — единую великую цель. Идейной прямолинейности и духовной страстности Бакунина

можно только противопоставить душевную раздвоенность Ставрогина, столь явственно выраженную в одновременной пропаганде мистической веры Шатову и атеизма Кириллову.

Исключительный дар героя Достоевского почти мгновенно переходить от одной веры к другой — противоположной, сменять безболезненно одно мировоззрение иным обнажает его духовную неустойчивость, его душевную пустоту. В этом, конечно, «принц Гарри» органически чужд мощной творческой природе Мишеля. <...>

Заметки Кропоткина, Неттлау, Реклю, Кафиеро, Гильома и многих других неотразимо убеждают нас в том, что известная часть его современников «благодатно оплодотворялась идеями вдохновенного трибуна».

Быть может, здесь играла свою роль особенная духовная структура Бакунина. Мощный проповедник анархизма любил в «Исповеди» говорить о «донкихотском безумии своих предприятий». Это, конечно, не только случайная фраза или лишний прием духовного притворства. Несомненно, что в облике Бакунина были эти черты, если, конечно, понимать эту особенную психическую стихию в том философском смысле, какое ей некогда дал Тургенев в своей известной статье.

Глубокая и вдохновенная экзальтация, безмерная вера, подчас принимавшая очертания неведомой фантастики, любовь ко всему необычайному, неожиданному действительно создает из гениального современника Достоевского тот героический облик, на котором запечатлены наиболее возвышенные свойства одного из вечных спутников человечества.

Этих элементов нет у Ставрогина. Недаром он напоминает близким Гамлета. Гамлетовщина и просветленное донкихотство — психические стихии, которые увековечивают Ставрогина и Бакунина в монументальные образы человеческих антиподов.

### ***5. Невосприимчивость к поэзии, музыке и другим искусствам***

Отмечая основные черты ставрогинского характера, Гроссман пишет, что в нем невозможно предположить интереса к «поэзии, музыке, к живым и звенящим голосам великой сферы мирового искусства, ибо влечение к ней предполагает ту живую, сердечную стихию, которой навсегда лишил Ставрогина его могучий и холодный, как стальная машина, рассудок».

Эта «духовная ущербность» «принца Гарри» не совпадает, однако, с бакунинской психикой. Эстетические эмоции вовсе не были

чужды автору «Кнута-Германской империи». Бакунин был от природы глубоко музыкален, интерес к этой наиболее безобразной сфере искусства он сохранил до последних дней.

Это прекрасно отметил в своих воспоминаниях А. Рейхель: «Он (Бакунин) мог совершенно погрузиться в музыку, которая не допускала никакого вопроса и не требовала ответов. Он имел такую верную память, что после нашей долгой разлуки мог напомнить мне мелодии, о которых я давно забыл. Он утверждал, что часто в тюремном уединении эти мелодии утешали его и оживляли... Он мог слушать музыку по целым часам; произведения Бетховена производили на него самое сильное впечатление»... О музыкальности Бакунина также свидетельствует Гильом и другие. Но эстетическая сфера гениального современника Достоевского не была ограничена только этой творческой стихией. Он был несомненно незаурядным читателем своей эпохи. В письмах Герцену и Огареву Бакунин цитирует Гёте<sup>7</sup>, а в «Исповеди», где кажутся странным литературные экскурсы, он вспоминает Крылова<sup>8</sup> и приводит Пушкина: «И не помнишь слов Пушкина: избави нас бог от русского бунта, бессмысленного и беспощадного».

К этому надо прибавить большой литературный талант непримиримого бунтаря. Правда, это положение оспаривается Гроссманом. «Поистине, поразительно, — пишет он, — настолько этот выдающийся ум, вечно погруженный в проблемы современности, столь самобытно и дерзко разрушаемые им, беспомощен в чисто литературном отношении: чтобы написать статью, ему необходима помощь друзей, он не умеет самостоятельно составить обычного журнального трактата и подчас ищет помощи даже у скудного дарованием Огарева. То, что Бакунину не удалось выработать из себя писателя, что его мемуары, которые могли бы составить интереснейшую книгу XIX века, так и не были написаны, свидетельствует лишний раз, насколько всякое искусство, всякая литература, все отмеченное художественным вдохновением, было чуждо ему» (курсив мой. — Н. О.)

Написано, как говорят, сильно, но... бездоказательно. Тезис, что Бакунин не мог выработать из себя писателя, Гроссман опровергает, в известной мере, сам, когда пишет о так называемом «Огаревском вопросе». Цитируя письмо Бакунина к Огареву, где он пишет о Грановском, Гроссман продолжает: «Вчитываясь в эти замечательные бакунинские письма к Огареву, приходишь к заключению, что они немало дали Достоевскому». Действительно, надо согласиться, что в цитированном письме вдохновенный проповедник анархизма дает «замечательную» характеристику Грановского, но она не единственная в эпистолярном жанре современника Достоевского.

Характеристики Нечаева, Жуковского, Утина, о котором так метко выразился Бакунин: «а он как петух между ними (женщинами), петух фразерский революционерствующий и играющий в диктатуру», — лишний раз свидетельствуют о тонких и глубоко-верных образах, которые подчас давал в своих письмах Мишель. Эти психологические портреты, порой ничем не уступающие литературному мастерству Герцена, щедро разбросанные в бакунинских письмах, могут служить лучшим аргументом против тезы Гроссмана. Книги Бакунина со всеми шероховатостями и литературными небрежностями тоже, конечно, далеки от пренебрежительной оценки Гроссмана.

Интересен отзыв о них Кропоткина, одного из лучших стилистов в анархической литературе: «Наконец, “Государственность и Анархия”, “Историческое развитие Интернационала” и “Бог и Государство”, — несмотря на боевую памфлетную форму, которую они получили, так как писались ради злобы дня, — содержат для вдумчивого читателя больше политической мысли и больше философского понимания истории, чем масса трактатов университетских и социал-государственных, в которых отсутствие мысли прикрывается туманной пеленою, а следовательно, непродуманной диалектикой»...

Музыкальность, поэтическая чуткость читателя, наконец, личный литературный талант Бакунина совершенно опровергают категорическое и бездоказательное заявление Гроссмана: «Всякое искусство было ему чуждо».

Эпизод с Сикстинской мадонной в Дрездене, конечно, несколько не утверждает «эстетического равнодушия» Бакунина\*. Это только лишний раз иллюстрирует несомненный факт бакунинской психологии: революция, освобождающая человечество от цепей рабства, была для него дороже шедевров искусства. Упрекать человеческую личность в антиэстетизме, когда она выбирает свободу и жертвует искусством, по меньшей мере, неосновательно. Суждения Ге и Белинского об эстетической восприимчивости Бакунина, конечно, здесь не авторитетны. Факты эмоциональной жизни Мишеля, как известно, не подтверждают их. Заметка Гроссмана о ненаписанных мемуарах Бакунина — нелепа.

Лихорадочная, революционная жизнь, бравшая его целиком, — главная, если почти не единственная, причина этого. Некоторые стра-

---

\* Вероятно, Л. П. Гроссман разделяет идею Ромена Роллана: «Убивайте людей, но чтите их произведения. Произведение рук человеческих, подобные Реймскому Собору, ценнее человеческой жизни». Этот бездушный эстетический фетишизм, конечно, чужд Бакунину.

ницы из «Исповеди» и письма Бакунина, несомненно, убедительный документ большого мастерства его психологической живописи, которую, быть может, испытал и сам Гроссман, когда цитировал «замечательную» характеристику Грановского.

### **6. Мертвенность, безжизненность, застылость**

На страницах своей статьи Гроссман не только старается приписать Бакунину несуществующие черты, но для большей верности смело берется произвести «ревизию» традиционного образа вдохновенного проповедника анархизма. «Мертвенность, застылость, безжизненность Ставрогина, — пишет он, — может показаться полной противоположностью бурнопламенной активности Бакунина. И, конечно, героические подвиги этого страстного борца не нашли своего отражения в “Бесах”».

«Но нужно учитывать, что легенда о Бакунине склонна преувеличивать его неутомимую действенность; на самом деле он знал периоды глухой и тупой безнадежности, наводившей его даже на мысль о самоубийстве. Он говорит в своей “Исповеди”: “Мне так бывало иногда тяжело, что не раз останавливался я вечером на мосту, по которому обыкновенно возвращался домой, спрашивая себя, не лучше ли я сделаю, если брошусь в Сену и потоплю в ней безрадостное и бесполезное существование...” И далее: “Во мне умер великий нерв деятельности, всякая охота к предприятиям, я сказал бы — всякая охота к жизни...” Впоследствии он пытается отравиться в Ольмюцкой крепости и уславливается с братом о доставлении ему яда, если бы его освобождения из Алексеевского равелина не последовало». Отметим ошибку автора легенды. Он считает, вероятно, вслед за Полонским, «Исповедь» — документом искреннего раскаяния и разочарования в революционной деятельности. В другой статье этого же сборника<sup>9</sup> я привожу целый ряд доказательств, которые, на наш взгляд, совершенно опровергают неверное понимание Полонского. Гроссману следует обратиться к ней и тогда ему станет понятно, что свободно и непринужденно цитировать страницы из «Исповеди», как ценный аргумент, невозможно. Личина притворства, маска лукавой игры несомненно лежит на тех местах «Исповеди», где ее автор исповедует Николаю I в своей душевной безнадежности. Во всяком случае они спорны и в силу этого как доказательства в счет идти не могут. Попытка Бакунина отравиться, конечно не доказывает самого существенного: «тупой и глухой» поры его душевной безнадежности в этапы его свободной деятельности. Безнадежность, которая охватила Бакунина в период

его тюремного скитальчества, ведь никак не утверждает аналогичного душевного состояния человеческой личности на свободе. Гроссману прекрасно известно, что источником этого состояния была только тюрьма и сознание «медленного умирания в каменном мешке». Таковы два источника, в достаточной мере несостоятельные, исходя из которых, Гроссман пытается ослабить «легенду» неутомимой действенности Бакунина. В той же «Исповеди» имеется место, где Бакунин дает яркую характеристику своей личности: «А если и во мне был эгоизм, то он единственно состоял в потребности движения, в потребности действия... мне становилось и душно и тошно в обыкновенном спокойном кругу. Люди обыкновенно ищут спокойствия и смотрят на него, как на высочайшее благо; меня же оно приводило в отчаяние; душа моя находилась в неусыпном волнении, требуя действия, движения и жизни», — писал автор «Исповеди» Николаю I. Эта характеристика не выдумана Бакуниным, она подтверждена его жизнью и словами его друзей, приверженцев и сторонников. Итак, и здесь, в последней — основной черте своего характера Ставрогин глубоко противоположен Бакунину.

### *7. Заметка Достоевского о Бакунине*

Быть может, ко всем аргументам против Гроссмана не лишним является и одинокая запись самого Достоевского о Бакунине. «Гр(ановский) говорит: Бакунин — старый, гнилой мешок бредней», — записал автор «Бесов» в первоначальных набросках своего гениального романа. Трудно решить, с полной достоверностью выражает ли эта мысль личное признание самого автора или нет. Несомненно одно: она в известной степени отражает образ Бакунина в творческом сознании Достоевского. Любопытно, что Шатов, исповедующий мессианскую веру в Россию, и Кириллов с его человекобожием, два двойника Бакунина, по мнению Гроссмана, выражают самые сокровенные, интимные идеи автора «Бесов». Идеи Шатова и Кириллова, как известно, будут повторяться, варьироваться и углубляться на всем творческом пути Достоевского. Мог ли он мыслить Бакунина старым, гнилым мешком бредней, если этот «бред» был трагически-неразрывно сплетен с творческим существом гениального романиста? Конечно, нет. В рефлекслирующих однодумах бесполезно и смешно искать этапы бакунинской идеологии, — они отражают действительно «бред», но не вдохновенного трибуна, а самого автора, «бред», трагически взрывающий иступленный облик автора «Братьев Карамазовых».



## 8. Итоги

Подведем наши итоги.

Наша тема: мог ли быть Бакунин творческим импульсом для создания образа Ставрогина, — раскрыта до конца. Ни одна из основных черт характера Бакунина и героя Достоевского не совпадают.

Действительно: Бакунин — вечный трибун, проповедник *par excellence*, его революционная или философская проповедь всегда явно или скрыто таит организаторские цели; он чужд абстрактным планам, отвлеченный мир идей не импонирует его глубоко жизненной натуре. Огромный творческий ум неразрывно соединен в его личности с мощной организаторской волей. Ставрогин — «гений абстракта, исполин логических вычислений», он — «воплощение исключительно умственной, мозговой силы», оторванной трагически от творческой воли. Пафос трибуна ему органически чужд.

Он только безжизненный теоретик, лишенный способности «жизненно отождествить волю к разрушению с творческой страстью».

У Бакунина, как вдохновенного трибуна, толпа адептов, беззаветно идущих по его пути. Его душевная экзальтация органически чужда раздвоенности. Он переживает различные этапы мировоззрения, но в известный момент он — пламенный энтузиаст, безгранично верующий в свою «истину».

Ставрогин — глубоко противоречивая душа; он может исповедовать два полярных мировоззрения, насаждать в душах своих редких поклонников атеизм и религиозность. Его одинокие адепты всегда духовно не удовлетворены, их мучительная тревога только верный рефлекс неустойчивой психики самого «учителя».

Бакунин — фанатик революции. Исключительно поглощенный ею, он лишен многих земных радостей, — любовная стихия, играющая властную и подчас трагическую роль в жизни многих, несущественна в его жизненном пути. Ставрогин никогда не был революционером, его участие в организации — случайное, в социальной борьбе он — праздный зритель и бесстрастный наблюдатель.

Любовь, а особенно чувственность, соединенная с развратом, — сфера наиболее трагических и постоянных переживаний «принца Гарри». Бакунин искал смысла жизни в революционном и социальном творчестве, Ставрогин — в наиболее иррациональной стихии. Письмо к Дарье Павловне — последний красноречивый факт в истории любовного героя.

Бакунин — герой революции, Ставрогин — испепеляющих чувств.

Гипертрофия интеллекта умертвила в душе таинственного спутника Достоевского отзывчивость к «живым и звенящим голосам

великой сферы искусства». Могучий проповедник анархизма, трагивший всю творческую энергию на революционную деятельность, напротив, не лишен эстетической одаренности. Природная музыкальность, литературный вкус тесно связаны с его несомненным дарованием писателя. Мертвенности, безжизненности, духовной пустоте Ставрогина неутолимый бунтарь противопоставил вечный динамизм своей натуры.

В духовной природе «принца Гарри» патологически выражена гамлетовская стихия. Роковой поединок воли и разума закончен в нем окончательной победой интеллекта, Бакунин отображает в своем образе наиболее героические черты литературного «безумца».

Наконец, Ставрогин — полное торжество рационализма в жизни, напротив, Бакунин — утверждение примата иррационального. Глубокие антиподы, они, быть может, свидетельствуют о величайшей тяжбе, до сих пор еще неразрешимой в истории человеческого мироощущения.

Можно было еще наметить ряд существенных черт, лишняя раз подтверждающих наше убеждение. Их мы не приводим. Психологические основы характеров Бакунина и Ставрогина, как мы уже доказали, ни в чем не совпадают; этого совершенно достаточно, чтобы считать дельнейший спор бесполезным и пустым.

Известный исследователь автора «Бесов» пережил оптический обман. Занимаясь усиленно и плодотворно Достоевским, Гроссман стал гримировать исторические образы под стиль его героев. Бакунин, каким его изображает автор легенды в своей статье, действительно мог быть прототипом Ставрогина, ибо он не живое историческое лицо, а только... выдуманная легенда. Гроссман сочинил романтика революции, надел на него вдохновенный облик, застывшую, холодную и безжизненную маску и с упоением торжествующего победителя объявил эту мифическую куклу Бакуниным.

Жизнь развенчивает маскарад человеческих вымыслов. Она и здесь безжалостно сорвет разноцветные и пестрые лоскутья научной арлекинады...

